

Клайв Стейплз Льюис

Упадок веры

Я смотрю на оксфордских студентов и вижу, что с одинаковым правом можно сделать два вывода о «подрастающем поколении», хотя на самом деле студенты по всем статьям отличаются друг от друга не меньше, чем от нас, преподавателей. Множество фактов доказывает нам, что вера — при последнем издыхании; ровно столько же доказательств, что вера возрождается. И то и другое правильно. Должно быть, полезней будет рассмотреть и понять обе тенденции, чем прикидывать на глаз, «кто кого».

Упадок веры, принесший столько горя одним и радости другим, доказывается тем, что церкви теперь пустуют. И правда, в 1900 году они были полны, а сейчас, в 1946-м, там никого нет. Но случилось это не постепенно, а сразу — как только людей перестали заставлять. В сущности, это не упадок, не падение, а прыжок. Шестьдесят человек, приходивших в храм из-под палки, больше туда не ходят; пятеро верующих ходят, как ходили. Случилось это не в одном Оксфорде, а по всей Англии.

Во всех слоях населения, во всех частях страны церковных христиан стало гораздо меньше. Как обычно считают, это доказывает, что за последние полвека наш народ перешел от христианского мирозерцания к мирскому. Но, судя по книгам, люди XIX века смотрели на мир точно так же. Исключений очень мало. Романы Мередита, Тrolлопа, Теккерея написаны не теми и не для тех, кто ставит вечное выше временного, считает гордыню грехом грехов, жаждет нищеты духовной и Божьей благодати. Еще удивительней, что сам Диккенс в «Рождественских рассказах» не вспомнил о Божьей Матери, волхвах и ангелах, а выдумал каких-то духов и символами своего любимого праздника сделал не вола и осла, но гуся и индейку. Самый же редкостный пример — в 33-й главе «Антиквария», где лорд Гленаллен прощает старую Элспет. Если верить Вальтеру Скотту, Гленаллен вечно каялся, молился и помышлял только о небесном. Но когда он прощает врага, о христианстве и речи нет — он просто по природе своей великодушен. Скотту и в голову не пришло, что четки, посты и покаяния, столь полезные в виде романтических атрибутов, могут быть хоть как-то с этим связаны.

Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что Скотт не был смелым, добрым и благородным человеком и прекраснейшим писателем. Я хочу сказать, что и он, и многие его современники воспринимали всерьез только светские, мирские ценности. В этом смысле Платон и Вергилий ближе к христианству, чем они.

«Упадок веры» — явление неоднозначное. Точнее всего сказать, что в упадок пришло не христианство, а расплывчатый теизм, с крепким, а порой — и рыцарским нравственным кодексом. Теизм этот не «стоял против мира» — им были пропитаны насквозь все наши институты и чувства; в церковь же его сторонники ходили в лучшем случае из вежливости или по привычке, а в худшем — из лицемерия. Когда социальное давление исчезло, не возникло ничего нового, просто стало виднее, что к чему. Тех, кто ищет в Церкви Христа, пересчитать не трудно, если туда не ходит никто другой. Замечу, что сама эта новая свобода обязана своим существованием тому, о чем мы недавно говорили. Если бы антиклерикальные и антирелигиозные силы XIX века увидели перед собой сомкнутый ряд истинных христиан, дело могло бы обернуться иначе. Но смутная религиозность сопротивляться не умеет. Она рыхла и податлива.

Таким образом, «упадок веры» — истое благословение. В самом худшем случае он хотя бы ставит все на свои места. Современный студент может выбирать. Он может рассуждать о христианстве, потом — и обратиться. Я помню времена, когда это было труднее. Религиозность слишком расплывчата, чтобы спорить («слишком священна, чтобы упоминать о ней всуе»). О ней полагалось говорить тихо, тайно, как о болезнях. Конечно, целомудрие всегда запрещает слишком легко говорить о Боге. Но чисто социальные, вкусовые, светские запреты ушли. Туман религиозности рассеялся: мы видим обе армии; можно начинать бой. Для «мира» упадок веры очень вреден. Встало под удар все, что давало возможность сносно

и даже счастливо жить в Англии: сравнительная чистота нашей общественной жизни, сравнительная человечность, пристойные отношения между политическими противниками. Но я не уверен, что это затруднит обращение в христианство. Скорее, наоборот. Когда круглый стол сломан, приходится выбирать, с кем вы — с Мордредом или с Галахадом.

Перейдем к христианскому возрождению. Те, кто о нем толкует, ссылаются на успех явно и даже яростно христианских писателей, на популярность лекций о христианстве и на частые и отнюдь не враждебные споры о нем. Словом, они имеют в виду то, что один мой друг назвал «интеллигентской шумихой вокруг христианства». Явление это трудно описать беспристрастно; но всякий признает, что христианство «в ходу» у молодых интеллектуалов, которые лет пять назад о нем и не думали. В наши дни лишь наивный провинциал еще считает неверие само собой разумеющимся. Времена простого неверия так же мертвы, как времена простой веры.

Мои единоверцы этим довольны. И впрямь причины для радости есть; а то, что я сейчас скажу, вызвано, надеюсь, не только естественным желанием пожилого человека немного расхолодить всех, кто ему попадется. Я просто предупреждаю о возможных разочарованиях, чтобы хоть как-то их предотвратить.

Во-первых, всякий христианин должен понять, что интерес к христианству и даже умственное с ним согласие сильно отличается от обращения Англии или хотя бы одной-единственной души. Для обращения нужен поворот воли, а поворот этот, в самой своей глубине, невозможен без благодатной помощи. Это не значит, что благоприятствующая христианству умственная атмосфера ни к чему не нужна. Мы не считаем бесполезными оружейников, хотя они не выигрывают битвы; однако их надо поставить на место, если они потребуют воинских почестей. Когда человек подходит к последнему выбору, умственный климат может помочь ему. Те, кто создает этот климат, трудятся не зря, но не надо преувеличивать их пользу. Вполне возможно, что из всех их стараний не выйдет ничего, совсем ничего. Неизмеримо выше их стоит тот, кого, насколько мне известно, нынешнее движение еще не породило — проповедник, апостол, благовествователь. Апологет готовит путь Господу, проповедник подражает уже не Предтече, а Христу. Он будет нам послан; а может, — не будет. Пока его нет, мы, апологеты, сделаем совсем немного. Однако это не значит, что надо сло-жить оружие. Во-вторых, не забывайте, что широкий и жадный интерес к чему-нибудь называется модой. А моды, по природе своей, недолговечны. Нынешний интерес к христианству может про-держаться, может исчезнуть. Но рано или поздно он неизбежно утратит широту. Происходит это очень быстро. Где теперь Брэдли, схема Дугласа, вихревики? Кто помнит попрыгунчиков и кто читает «Избиение младенцев»? Что бы ни дала нам мода, она исчезнет. Отражения останутся, а больше — ничего. Если и впрямь началось христианское возрождение, развиваться оно будет мед-ленно, тихо, в очень маленьких группах людей. Солнце проглянуло ненадолго (если проглянуло), и надо собрать зерно в амбары, пока не пошли дожди.

Непрочность — рок «умственных климатов», поветрий и мод. Но «христианскому возрождению» грозит и более серьезный противник. С нами еще не боролись всерьез. Если успех наш воз-растет, этого не миновать. Враг еще не удостоил нас битвы, но скоро удостоит. Так бывало в христианстве всегда, с самого начала. Сперва оно нравится всем, у кого нет особых причин с ним враждовать, и тот, кто не против него, — с ним. На этой ступени люди замечают только, как не похоже оно на неприятные им самим стороны мира сего. Но, догадываясь постепенно, чего же оно действительно требует, люди пугаются все больше; оттолкновение, страх и, наконец, ненависть побеждают в их душе. Выдержать христианство может лишь тот, кто даст ему все, чего оно хочет, т. е. — попросту все. И те, кто не с ним, встают против него.

Вот почему не надо тешить себя надеждой на мирные, разумные и крупные победы. Задолго до этого против нас встанет истинный враг, и верность христианству будет стоять по меньшей мере мирского преуспевания. Но помните: скорее всего, враг этот примет имя христианства (вероятно — с каким-нибудь прилагательным).

Пока что вроде бы все идет неплохо. Но откуда мне знать? Ни мы, ни наши враги еще не брались за оружие. А всем нам всегда кажется, что война зашла дальше, чем это есть на самом деле.

Возрождение или упадок?

(Статья опубликована: «Punch», 1958, 9 июля.)

Неужели вы не видите, — сказал наш ректор, — что на Западе очень сильно растет интерес к религии? На это нелегко ответить. «Очень сильно» — пустые слова без статистики, а у меня нет статистических данных. Кроме того, мне кажется, ректор неправильно ставит вопрос. Когда почти все верили, «интереса к религии» быть не могло. Те, кто верит в богов, поклоняются им, и только сторонний свидетель называет это религией. Менады стремились к Дионису, а не к Религии. *Mutatis mutandis* это относится и к христианам. С той минуты, как вы предалися Богу, ваш интерес к религии кончился. Вам уже не до него. На наши лекции и дискуссии ходит очень много народу, но это не доказывает, что стало много верующих. Каждое истинное обращение уменьшит нашу аудиторию.

К вышеупомянутому интересу относятся теперь с уважением, и я не вижу, почему бы ему не расти. Вполне естественно для человека пребывать в неуверенности. Однако только глупому не видно, что это еще и легче всего. Истинное христианство и последовательный атеизм предъявляют к нам требования. Когда же мы берем утешения веры без ее тягот и свободу неверия без его философского и эмоционального воздержания — это, может быть, и честно, но уж никак не трудно.

— Неужели вы не заметили, — говорил ректор, — что христианство почитают в самых элитарных кругах? Интеллигенция идет к вере. Такие люди, как Маритэн, как... Но я не обрадовался. Конечно, верующий интеллектual типичен для нашего времени. Однако было бы намного утешительней, если бы именно сейчас интеллектualы (кроме ученых) не потеряли наконец всякой связи с остальным человечеством. Лучших поэтов и критиков читают, без особого восторга, лучшие критики и поэты, и никто другой их не замечает. Вполне интеллигентные люди, которых становится все больше, просто не знают, чем заняты высоколбые, а те в свою очередь знать не хотят о них. Поэтому обращения интеллектualов мало на кого влияют. Более того, бытует подозрение, что это — очередная снобистская мода, новый способ шокировать мещан, вроде сюрреализма. Конечно, подозрение такое жестоко, но и высоколбые наговорили о ближних немало жестокого.

— А там, — продолжал ректор, — где еще не воцарилась вера, люди снова обратились к нашему духовному наслeдству. Западные, я бы даже сказал — христианские, ценности...

Мы вздрогнули. Я же при этом вспомнил войну, ангар из рифленого железа, несколько коленопреклоненных летчиков и молодого капеллана, провозглашающего: «Научи нас, Господи, любить все то, что Ты защищаешь!» Он был совершенно искренен, и я верю, что «все то» включало в себя не только «западные ценности». Но у него выходило, что Бог — не вершина, не цель, а некое существо, у которого, на наше счастье, высокие идеалы. За это мы Его и ценим. Он, конечно, ведет нас — но к чему-то, к какой-то другой цели, вне Его Самого. Насколько больше веры в слова Августина: «Ты создал нас для Себя, и беспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе!». Даже у менад веры больше.

— А то, чем пытались заменить религию, вконец дискредитировано, — сообщил ректор. — Наука теперь — скорее пугало, чем идол. Утопия, небо на земле...

Как раз вчера мне рассказывали, что на какие-то слова о смерти одна молодая девушка ответила: «Ну, к тому времени, когда я состарюсь, ученые что-нибудь придумают!» Вспомнил я и о том, как часто мои неуниверситетские слушатели убеждены, что все плохое в человеке рано или поздно (скорее, рано) исправит «образование». Потом я припомнил, как кто-то написал мне, что меня надо высечь за веру в непорочное зачатие. Когда меня познакомили с известным писателем, он отвел взор, что-то пробормотал и поскорее скрылся. Какой-то американец спрашивал меня, не летающая ли тарелка колесница Илии. Я встречал

теософов, английских иудаистов, пантеистов, буддистов. Почему такие, как наш ректор, говорят о религии? Не лучше ли говорить о религиях? Мир кишит ими. Слава Богу, есть среди них и христианство. Я получаю письма от святых, не подозревающих о своей святости, и преклоняюсь всякий раз перед их верой, радостью, смирением и даже юмором среди невыносимых страданий. Пишут мне и недавно обратившиеся, прося простить их за то, что много лет назад они, по их мнению, обидели меня в каком-то ученом споре.

Все это видел я сам, и все это — «Запад». Ректор этого не видел. Он черпает сведения из книг, а там почти не пишут о тех проявлениях святости, богохульства и безумия, среди которых мы живем. Более того, он не знает, что у большинства людей просто нет в голове измерения, которое для него само собой разумеется. Поясню это двумя примерами. В какой-то статье я упомянул о естественном праве, и старый полковник (по всем признакам — *anima candida* написал мне и спросил, нет ли об этом праве «хорошей брошюрки». Другой пример. Как-то во время войны мы дежурили вдвоем на крыше — рабочий, ветеран первой мировой и я. Мы с бывшим военным рассуждали о причинах войн и пришли к выводу, что эта — не последняя. «Как же так! — всполошился рабочий, помолчал немного и спросил: — А зачем мы тогда живем?» Впервые в жизни перед ним встал философский вопрос. То, о чем мы размышляли всегда, только сейчас стало для него проблемой. В нем открылось новое измерение.

Существует ли однородный «Запад»? Не думаю. Религии, словно комары, жужжат вокруг нас. Одна из них — серьезное поклонение полу, которое не надо путать с бездумным поветрием фривольности. Какие-то зачатки религий возникают в научной фантастике. Как всегда, есть и христиане. Разница только в том, что теперь христианином не надо притворяться. К этому, в сущности, и сводится так называемый упадок веры. А в остальном — так ли уж отличается наше время от других времен и наш Запад — от других частей света?